

Вера добралась до метро, долго ехала под землей, потом пересела на автобус и опять ехала долго, протяжно, чуть с тоски не умерла. «Когда уже это Шереметьево будет?» Аэропорт, его серые мрачные здания появились внезапно, Вера бы никогда не подумала, что это Шереметьево, если бы не дикий самолетный гул. Самолеты взлетали и садились кучно, густо, как жуки или стрекозы. Вера подивилась: как это они друг на друга не натолкнутся в воздухе! Люди сошли с автобуса, шли вперед, она вместе со всеми.

Вытащила заграничный паспорт, развернула его, долго разглядывала бумаги. Поняла так: одна бумага на самолет до Одессы, другая – бронь на паром Одесса – Хайфа. А потом из Хайфы как, до Иерусалима? «Ничего, там близко уже, доберусь». Вчитывалась; сообразила, что от приземления самолета до отплытия на пароме ждать ей пять дней. Ух, как долго! Пять дней... Деньги, рубли и доллары, лежали у нее на груди, в лифчике, а мелочь на дорожные расходы – в кармане длинной юбки. Перед отъездом она ее тщательно выстирала и высушила на кухне, на веревке над плитой.

Она впервые в жизни летела самолетом. Да, ей было страшно, но не настолько, чтобы паниковать. Когда самолет загудел и стал набирать скорость, она вцепилась в подлокотники кресла; когда взлетел, она разжала руки, глубоко вздохнула и заткнула пальцами уши – гул показался ей невыносимым. Потом привыкла. Самолет нырял в воздушные ямы, Веру тошнило. Она изо всех сил подавляла приступы рвоты. Стюардесса подошла к ней и сладким голосом спросила, чего ей надо. Ничего

не надо, замотала Вера головой, спасибо. Стюардесса быстро убежала по ковровой дорожке и быстро прибежала, с подносом в руках; склонилась перед Верой, будто перед шахиней, и быстро щебетала – угощала. Вера протянула руку и смущенно взяла с подноса тарталетку с красной икрой и толстопузый бокал; ей почудилось, в бокале сок. Поднесла бокал к губам, в нос ударил мощный спиртовой дух. Это оказался коньяк. Вера никогда не пила коньяк, только водку и вино. Она осторожно втянула запах ноздрями, нюхала долго, пьянела от запаха, улыбалась. Чуть пригубила, держала бокал на коленях, обнимая обеими руками, грела ладонями. Она не знала, что именно так, в ладонях, греют коньяк.

...черный крест... самолет...

...красный плот...

...красный крест... нет мест... норд-ост, зюйд-вест...

...красный крест. Он горит. Я баба, я должна его вышить. Тогда... еще можно выжить. Но я не рукодельница. Я моей жизни мельница. Лечу. Слетаю с ума. Я лучше тем крестом стану сама. Раскину руки... будто обнять... я – мать... всеобщая мать... Железный гроб в небесах. Я лечу. Я дух. Я прах. Свечой – свечу.

...крыла... я – в небо ушла...

Откусила от тарталетки, чмокала, наслаждаясь, ну, красную икру она ела в Сибири не раз, чаще в гостях, а когда распродажа, задешево и сама покупала; прихлебывала коньяк, так потихоньку и выпила все, до дна, захмелела, развеселилась. Спать захотелось. Вера уснула, и бокал вывалился у нее из рук и покатился по проходу салона. Ранец ее торчал из-под сиденья: ей разрешили пронести с собою ручную кладь.

Когда она проснулась, она услышала рядом разговоры других людей. Люди беседовали о чем угодно: о здоровье, о еде, о войне и о мире. Вера поняла, что все боялись близкой войны и только о ней и говорили, а если даже не о ней говорили вначале, то на нее все равно сбивались. Она прислушивалась. Толстый, как сдобный пирог, мужчина, шикарно одетый, с золотым, с алмазом, перстнем на безымянном пальце, громко вещал кудрявой болонке-соседке о том, что он скоро уезжает в Канаду на пээмжэ. Вера думала, Пээмжэ – это такой город в Канаде, и может, даже курорт, с лечебными ваннами и спа-процедурами, а потом догадалась: это постоянное место жительства. «Дура ты и есть дура», – презрительно подумала о себе. Толстяк возглашал:

– Да вы знаете, сударыня, сейчас все отовсюду бегут! Украинцы бегут в Америку, в Канаду. Азиаты – в Европу. Тучами наваливаются, роями! Германия вот точно скоро потонет в турках! Там в школах, знаете ли, учатся одни турецкие дети! Немчиков раз-два и обчелся! Наши евреи бегут, миль пардон, в Израиль! Вся моя родня – давно в Израиле! В Яффо, в Тель-Авиве, в Хайфе! Хайфа, о, знаете, сударыня, это такой красивый город! Красивейший! Одесса-мама ну просто отдыхает!

Вера не расслышала толком, что ответила дама. Кажется, она возразила и стала защищать Одессу. Толстяк поморщился.

– А чего в Одессе такого уж эффектного?! Оперный театр?! Потемкинская лестница?! Ланжерон?! О, Господи... Ланжерон... Сколько я там ракушек очаровательных находил когда-то... Сейчас, перед Канадой, вот тоже, знаете, хочу по Ланжерону побродить, ракушку, черт возьми, поискать... черт меня возьми совсем... да...

Он повернул жирное блестящее лицо к Вере, тройной подбородок дрогнул, и Вера вытащила из кармана носовой платок и протянула толстяку.

– Вот... вытритесь...

Толстяк оттолкнул ее руку.

– Фу! Какую грязь вы мне предлагаете! Вытирайтесь сами!

– Он чистый, – растерянно возразила Вера, – я стирала...

Толстяк вынул из кармана свой платок и утер глаза, рот и подбородок. А слезы все мелко, градом, катились, лились ему за шиворот, под крахмальный воротничок.

Стюардесса подкатила тележку на колесах. Сначала по-иностранному спросила, потом по-украински, потом наконец по-русски:

– Обед желаете? Курочка с рисом, салат, сок, вода, коньяк?

– Коньяк, – сказала Вера и протянула руку.

Толстяк захохотал, и подбородки его затряслись.

– Ишь, какая лизоблюдочка! А закуски к коньяку? Давайте, милочка, давайте все, что там у вас есть!

– Не все, что есть, – строго сказала стюардесса, продолжая мило улыбаться, – а то, что полагается.

Откинула раскладные столики, расставила бумажные тарелочки с яствами, бокалы с коньяком, улыбнулась до ушей, унеслась, катя тележку перед собой.

Толстяк заинтересованно глядел на бедно одетую Веру.

– А вы, сударыня, смею полубопытствовать, к кому в Одессе? К родне?

Вера держала бокал в руке и весело глядела на толстяка. Глаза ее, широко, по-коровьи расставленные, чуть раскосые, серым жемчугом блестели.

– Или Одесса для вас перевалочный пункт? Хм, ну, транзитом проедете?

Хмельная Вера сощурила глаз и посмотрела на толстяка сквозь прозрачную толщу коньяка.

– Транзитом. Я – в Иерусалим еду.

– О! – закатил глаза толстяк. – На Святую Землю! Недурно, сударыня, недурно. Паломница?

Опять окинул насмешливым взглядом ее бедный наряд.

Вера поежилась, собрала пальцами на груди воротник темной кофты на мелких пуговицах.

Бокал с коньяком дрожал в ее другой руке.

– Да. – Врать так врать. – Паломница.

– Хм, святое дело. – Толстяк тоскливо вздохнул. – А я вот... в город детства. Может, там, на пляже, вместо ракушек... свое детство найду! Выпьем?

Соседка-болонка обиженно кашлянула. Она привлекала к себе внимание.

Толстяк поправил в кармане роскошного пиджака белый торчащий уголок платка. Помял шелковый узел галстука. Вдруг рванул галстук, стащил его, бросил на пол самолета. Сложил губы в улыбку, и на Веру изо рта его блеснул старинный золотой зуб. «Как у бандита», – подумала Вера. Толстяк взял с раскладного столика бокал и двинул им о бокал Веры.

– За наше детство, – сказал, задыхаясь. – Ой, нет! Давайте лучше за...

– За любовь! – задушенно, высоким журавлиным голосом, крикнула кудрявая соседка. И ближе подсунула к ним свой бокал.

– Елочки же палочки! – выдохнул толстяк. – Конечно, за нее, родимую! Со мной, в этом же самолете, летит моя любовь. Девушка моей

мечты! О, если бы вы видели мою девушку! Ну, в Одессе по трапу будем сходить, увидите! Принцесса!

– А где она? – спросила Вера.

– В бизнес-классе! Со всем шиком! А я тут! В эконо-дерьме! Я – ближе к народу! Потому что я сам народ! Выпьем!

Они выпили. У Веры загудело в голове. Она опять вся и вдруг стала музыкой, звучала, вибрировала – звучали пальцы, дрожали плечи, тихо пели ноги, шелестели губы, звенели волосы, развиваясь, выпадая из пучка, похожего на кукиш. Вера косилась на толстяка и думала: «Вот, у такого жиряги и девушка-красотка есть, ну, небось она за деньги замуж вышла, а может, и не замуж, а так, а может, он добрый хороший человек, а может, он мужик хороший, ну, в постели, даром что жирняй», – и пугалась своих грубых, циничных мыслей, как пугаются летящего под откос поезда. Кудрявая болонка улыбалась толстяку коралловыми крашеными губами, поправляла на морщинистой шее ослепительно сверкающее кольцо. «Драгоценности все на себе везет, и не боится, что сорвут с груди».

– Вот вы, паломница, – толстяк отпивал коньяк из бокала медленно, вкусно, – а коньяк пьете!.. вы вот скажите мне: каково это, верить в Бога?.. Ну, какое у вас чувство, ну, что вы верите. Я вот не верю, мне интересно. Как вы... ну... Его – чувствуете? Или никак? Нет, как-то ведь чувствуете все равно. Без чувства веры нет. Чувство... это... это ведь как любовь! Вот я люблю мою девушку. О!.. очень. Так люблю, так!.. жизнь за нее отдам. Я ей и так все состояние свое отписал! Все – ей – завещал! Кожу с себя готов содрать – и ей отдать!.. А вера... вера... что она такое? Ну, что вы... да, вот вы... паломница... ощущаете, когда губами к иконе прикасаетесь? Или вот в Иерусалиме пойдете ко Гробу Господню? Или там... в Вифлеем поедете, туда, где Иисус в яслях лежал, с коровами и овцами?.. А?.. Благоговение... или что другое?.. что... другое...

Самолет внезапно накренился на один бок, перекатился на другой, чуть не сделал «бочку», с трудом выровнял полет, потом его сильно, мощно тряхануло, и он задрожал крупной противной дрожью – так, что зазвенели все его стальные сочлененья, кольца и винты.

– Трясет как в преисподней! – сказал толстяк.

Коньяк выплеснулся из бокала ему на штаны.

Самолет клюнул носом воздух и стал падать. Люди в салоне завизжали. Спящие дети проснулись и громко, пронзительно заплакали.

– Мы умрем! Умрем!

Кудрявая болонка поднесла оба кулака ко рту и кусала их, и орала как резаная.

Вера ни на кого не смотрела. Она смотрела вперед.

«Ну вот и все. Как все просто! Какая же простая и маленькая жизнь! Сколько ни живи, а все будет мало. Как все вопят! А вокруг нас, в небе, какая тишина! Никому нет дела до людей, что орут в самолете. И даже Богу до нас дела нет! Падаешь – и падай! И не плачь, потому что никому и незачем плакать! Зачем они все так страшно кричат?»

До нее донесся дикий голос:

– Люди! Люди! Я поганец! Я людей убивал! Люди! Каюсь! Боже! Если Ты есть! Прости меня! Люди! Простите! Простите! Я не хочу так просто уйти! Непрошенным! Простите!

Голос поодаль закричал с надсадом:

– Да простили тут давно все тебя! И Господь простил!

Вера глядела прямо перед собой и не видела, как торопливо, истерично, мелко дрожащей рукою крестится толстяк. По толстому лицу

тек пот вперемишу со слезами. Толстые, вывернутые по-негритянски губы бормотали:

– Люсенька... Люсенька... я тебя... не увижу... не обниму... где ты, крошечка моя... красавица...

Опять на одно крыло, на другое перекатился железный бочонок. Люди плакали. Крики бились о стены салона. Кудрявая болонка низко нагнулась, приблизила лоб к согнутым коленям и обхватила ноги руками. Как кошка, она пыталась свернуться в клубок, чтобы спастись.

Вера сидела деревянно, пристегнутая ремнем. Мысли сначала еще жили в ней, потом враз все умерли. Во рту у нее пересохло. «Питья, – подумала она жестоко и жестко, – на том свете уж точно не поднесут». Стюардесса металась по салону, потом не удержала равновесия и упала, и поползла, хватаясь руками с намазанными лиловым лаком ногтями за кресла, за ковер, за подлокотники.

– Уважаемые пассажиры!.. господа!.. гос... по...

Она еще пыталась быть вежливой. Ее выучили правильно.

– Эй! – крикнул толстяк Вере в ухо.

Она обернула к нему невидящее лицо.

– Увидимся на том свете?!

Что ей было делать?

Надо было говорить ему правду.

Или – солгать.

Беда была в том, что она не знала ни лжи, ни правды.

Ничего не знала.

– Увидимся! – крикнула она ему в ответ сквозь вой в салоне и людские вопли.

И сама заплакала, оттого, что человеку перед смертью неправду сказала.

* * *

Самолет будто провалился в вату. Выровнял полет. Гудел ровно и мерно. Больше не трясло.

Все изумленно оглядывались, смотрели друг на друга, смотрели и не верили тому, что живы. Что все кончилось. Кончился страх и ужас.

Стюардесса, стыдясь, одергивая задранную юбку, медленно поднялась с пола. Поправила волосы. Заученно улыбнулась. Сверкнули зубы. Она стала говорить, и ее голос напоминал голос сломанной куклы, заведенной сломанным позолоченным ключом.

– Уважа... емые!.. пассажи... ры. Мы попали в зону... тур... тур... бу... лентности... и теперь вышли из нее. Мы!.. продолжаем наш полет. Просьба всем... кто не... пристегнуть ремни... а кто... не... отстегивать... до посадки... и полной остановки самолета. Мы!.. скоро!.. прибываем в аэропорт города...

– Одессы, – хрипло закончил за стюардессу толстяк. Она нашел пухлой, как подушка, рукой руку Веры и сжал ее тепло, больно и отчаянно. И Вера ответила на пожатие.

– Просьба всем оставаться на... местах!.. до полной остановки... двигателей...

Самолет начал снижаться. Это уже не было падением. Он снижался по глиссаде, в иллюминаторах вспыхивал облачный туман. Когда шасси коснулось земли, Вера прикусила зубами губу, потекла кровь. Когда самолет встал на месте и затих, толстяк отстегнул ремень, уткнул лицо в ладони и затрясся в неударных, совсем бабьих рыданиях.

Спускались по трапу. Ноги подгибались от слабости. Кого-то некротимо рвало прямо на асфальт летного поля. Вера все-таки увидела девушку богатого толстяка. Она была и вправду красавица. Толстая русая коса, жемчуг в розовых маленьких ушах, брови вразлет, талия тоньше, чем у пчелы. От пережитого ужаса ее лицо было цвета молока. В небесных огромных глазах стояла влага. Она поджидала своего толстяка внизу, у трапа. Когда он спустился, девушка схватила его за руку и капризно прокричала:

– Яник! Ну и рейс! Поганцы пилоты! Я чуть не родила на борту!

Вера перевела взгляд на живот девушки. Под обтягивающим платьем живот предательски выпирал, торчал дыней. У Веры стало горячо под лопатками. Наблюдая чужую беременность, она опять почувствовала себя высохшим старым деревом. «Как это в Евангелии: высохшая смоковница, как там про смоковницу?.. эх, забыла. Надо прочитать».

– Не нужна ли вам врачебная помощь? – подскочил к Вере мальчик в белой шапке и в белом халате.

– Нет, не нужна, – помотала Вера головой, – спасибо.

Рядом кричали:

– Такий божевільний політ був, просто жаж!

Вера вошла в здание аэропорта, колени ее подкосились, и она рухнула на пол. Мир крутился вокруг нее, а она была веретеном. Голоса лепетали и вспыхивали рядом:

– Допоможіть, допоможіть жінці!

– У кого є нашатир?.. дайте скоріше!

– Бідна, вона з того самого рейсу?.. так?..

Ее жалели, вели под локти, усаживали на скамью. Подносили воды, заставляли проглотить неизвестные таблетки. Она послушно делала все, что ей предлагали. Ее трясли за плечи: «Вас встретят?.. Нет?! У вас паспорт с собой?! Где вы остановитесь?!» Наконец ее оставили в покое.

* * *

Она не хотела ни есть, ни пить. Она очень хотела спать. В брюхе большого белого, как белый ленивый кит, вонючего автобуса она доехала до старого центра Одессы. «Где тут пляж Ланжерон?» – робко спрашивала прохожих. Ей отвечали бойко, любезно, весело: «Та вот туточки!.. Остановочка!.. Сідайте ось на цей автобус, миттю доведе куди треба!»

Вышла. Ветер с моря дул в лицо, в грудь. Море катило под ветром серые, в бело-желтых барашках, мелкие волны. Тучи налетали с запада. Вере захотелось содрать с себя все одежонки и залезть в эту холодную, соленую воду. Омыться. Просолиться. «Купальника же нет у меня, как же я голая-то полезу. Никак». Стояла, ловила ветер ноздрями. Пошла по сырой кромке песка, у самой воды. Море лизало ей сапожки. Натекало перед нею на песок. Отхлынет, и опять дышит вода, вздыхает и поднимает соленую грудь. Медленно, вдавливая ноги в песок, шла Вера, и в каждый отпечаток ее ступни за ее спиной мгновенно натекало море, и быстро, моментально ее следы на песке становились морем, серой водой в разводах водорослей, как будто и не было ни узких следов, ни ее самой.

Она не оглядывалась.

Все шла и шла, сама не зная, куда, зачем. «Пять дней до парома, – повторяла себе как заклинание, – пять дней, пять дней». Как-то надо было прожить эти пять дней. «Ничего, – шептала, – проживу. Переплыву». И правда, эти дни представлялись ей морским заливом, такой вот серой, дрожащей под холодным ветром бухтой; догола или в одежде, все равно, но надо было зайти в воду по колено, потом по пояс, потом по шею – и, взмахнув руками, плыть, ну ведь плавала ж она в ледяном Енисее, и ничего, и здесь тоже окупнется и поплывет. Делов-то!

Накатывала на берег холодная волна, Вера шла, и ей казалось, вечно она так будет идти. И от этого становилось холодно спине и радостно сердцу. Она на одно мгновение ощущала себя ангелом, только без крыльев; крылья еще должны были вырасти. Она выпрямляла спину и сдвигала лопатки, и смеялась сама себе, своему безудержному детству. Одна, на морском берегу, она стала ребенком. Она теперь поняла толстяка, что хотел найти на пляже, на песке, свое утраченное, милое детство. Себя, мальчишку.

Вдруг Вера поняла, что продрогла. Болеть нельзя! Согреться, где? Повела глазами. Вдали маячил дом, похожий на кафе. Она побрела по песку туда, и ноги ее вязли в песке, и она беззвучно смеялась. Иногда наклонялась и вынимала из песка ракушки. Складывала их в карман. Они звенели.

Все ближе подходила она к домишку на берегу, и да, это было крохотное приморское кафе; смеркалось, и в полумгле оранжево, лимонно горел и переливался дьявольский неон в неуклюжих буквах над крышей: «КАВЯРНЯ». Ветер выдул из Веры последние остатки тепла. Дрожа, вошла она в кофейню, поднесла ко рту руки, дышала в ладони, даже пососала грязные пальцы, как леденцы.

– Ви продрогли? Погрійтеся! – Бармен, с полотенцем через запястье, склонился перед ней в радушном поклоне. – Сідайте, пані, ось вільний столик!.. Чашку кави бажаєте, або чого міцніше?..

Она села, стащила со спины ранец, затолкала его под стол и щупала ногами, чтобы не украли; ей принесли на подносе кофе и в блюдечке – темный коричневый сахар. Она впервые грызла такой сахар. Фруктовый?.. медовый?.. Окунала кусок сахара в кофе, пила вприкуску. Блаженствовала. Как ей было хорошо! Забылась. Забыла, кто она, куда и зачем движется по земле. В зал вошел человек. Она сперва не заметила его. Такой он был серый, как мышь, незаметный. Низкорослый, худой. Будто невесомый. За его плечами болтался то ли старьевный мешок, то ли старый рюкзак. То ли бродяга, то ли прокуренный рокер, то ли несчастный бомж, то ли тайный наркоман, неприкаянный, неслышный, он прокрался сквозь столы, выбрал Верин стол и сел за него, ощупывая странную суровую женщину глазами, будто то была нарядная рождественская елка.

– Можно мне с вами?

Бродяга говорил по-русски.

Вера вздрогнула, и ее глаза стали опять видеть.

– Да. Конечно.

– Добрый вечер.

– Добрый.

К бродяге тут же подскочил официант; судя по всему, его тут хорошо знали.

Он уже отхлебывал из огромной чашки кофе, и уже курил, ссыпая пепел в пепельницу, не глядя; и уже улыбался Вере беззубым жалким

ртом, и уже говорил, и болтал, слово за слово, а Вера хранила молчание, как хранит его холодное море.

– Вы тут одна сидите!.. я и думаю, развлеку. И сам развлекусь. Знаете, тяжело мне жить. Несладкая моя жизнь!.. а у кого она сладкая?.. сладкой, ее просто нет. Все мы, блин, сладкоежки!.. а надо мясо грызть, мясо, и крепкими зубами. Вы знаете, я ведь гений. Ну да, не делайте круглые глаза!.. Не думайте, я не псих. Я настоящий гений! Чистой воды. Алмаз «Шах». Или там «Орлов». Без примесей. Играю на солнце! А меня – в грязь, в грязь! Да сапогом, сапогом! И булыжником – вдребезги!.. да я привык. Я написал гениальную книгу!.. да!.. подобную Псалтыри!.. новую, не побоюсь так сказать, Псалтырь, да у меня рукопись утащили. Да, так просто, взяли – и украли! А у вас что, никогда ничего не крали? И даже деньги?.. и даже губную помаду из сумочки?.. ну да, вы не краситесь... вы – без макияжа, ах... это тоже сейчас модно, мода такая, голое лицо... Я плакал! Дико, страшно плакал! Потому что рукопись моя была в тетради, никакая не виртуальная! А потом, знаете... больно говорить, да... – Отхлебнул горячего кофе. Закрыв глаза. Вера глядела на его впалые щеки, на его щетину и морщины, длинными стрелами через все лицо. – Ну как не сказать... У меня жена ушла... и унесла с собой ребенка... моего ребенка... но это полбеда... она... она... убила меня.

Вера думала: «Господи, да воистину сумасшедший».

Но слушала молча, терпеливо.

– Что, думаете, безумец я? – Бродяга криво усмехнулся. Грел руки о чашку. – Думайте на здоровье. Это ваше право. Жена ударила меня ножом. Вот он след! – Бродяга внезапно со звоном отставил чашку и потянул вверх рубаху и полу куртки, под рубахой мелькнули полоски тельняшки, он бесстыдно обнажил ребра, через ксилофон тощих ребер тянулся длинный белый, грубый шрам. – Хороший след мне женка оставила?.. да, знатный. На всю оставшуюся... да ладно, это бы еще полбеда. Знаете, что потом-то было?.. а?.. не знаете. А потом она себе по ребрам тем ножом полоснула, да так, шуточно, чтобы только поцарапать... а рукоять ножичка сухо-насухо вытерла... и мне в руку всунула... чтобы мои пальчики отпечатались. Лежу на полу, в кровище, нож у меня в руке, сжимаю его, да все я понял тогда сразу, а куда бежать, кровью истекаю, сознание уходит!.. она убежала, стервь. И дочку, дочку унесла... так орала дочка... как поросенок под ножом... Корооче... женщина... и вы женщина, и она – женщина... в тюрьму меня-таки посадили!..

– В тюрьму, – эхом повторила за бродягой Вера.

Кофе в чашках остывал.

Она не могла оторвать глаз от его лица: оно светилось.

– И – отсидел!.. еще как отсидел... отрубил... тика в тикку... десятку... адвокат как ни бился, чтобы до пятерки скостить, не смог... И – вышел! И... в монастырь двинул!.. вот куда. Монастырь, счастье мое и проклятье мое. Оказался я там, в келье – и что?.. одинок, матушка. Одинок! Впору меня самого свечой у аналоя жечь. Так и сгореть хотел, такой свечой. Тосковал!.. выл. Ночами – выл! Вслух Псалтырь читал. И Евангелие – читал. И, пока читал, знаете?.. много постиг. Главное – постиг!

Вера дрогнула бескрылой спиной. Под лопатками заболело, заныло.

Что это такое он главное-то постиг?

Любопытство разобрало ее. Боль прошла вдоль хребта, вспыхнула и умерла в горячо бьющемся сердце.

– Вокруг меня стали, знаете, монахи толпиться. А я им – свои мысли излагал! И вроде как мое учение это было. Не смейтесь! А впрочем, можете и смеяться. Я не запрещаю. Смешно, да, смешно все, что я вам тут болтаю. Жизнь вообще смешная штука. Монахи меня слушали, раскрыв рты!

И тут Вера раскрыла рот.

Она не могла удержаться.

– А о чем... вы им говорили?

– О чем?! – Бродяга хитро прищурился. – А вам так хочется знать?!

Извольте!.. расскажу. Пока нас отсюда никто не гонит. Кавярня эта не круглосуточная, но до двенадцати ночи мы точно посидим. Не попрут. Меня тут любят. Я тут все починаю. И электропроводку... и полки прибываю... и люстры прикручиваю... и... О чем?! О том! Делай что хочешь, да, только потом будь готов, что придется отвечать. За все, что сделал. И не обязательно на небе. И на земле – ответишь! Обманываешь? Тебя тоже обманут, и еще как! Своруешь?! Тебя обворуют, да всего обчистят, до нитки! Изобьешь кого втихаря?.. не взыщи: тебя так отделают, маму родную не узнаешь. Исхлещут всего, в кровь, до кости!

Вера цапнула бродягу за локоть. Ее затрясло.

– Так, значит... – Она дрожала все сильнее. – Вот Христос! Вот его избили... ну, мучили Его... в тюрьме, когда Иуда Его поцеловал и Его в тюрьму солдаты забрали. Били Его солдаты! Смертным боем били! Мне старуха Расстегай говорила. А потом я и сама прочитала. В Евангелии! Истязали! К столбу привяжут и бьют! В смерть бьют! Без пощады! И что же?! Что ж это значит, а?.. что Христос кого-то, значит, сам когда-то избил... над кем-то надругался... а теперь – Его самого пытаются?! Так, выходит?! Не понимаю. В этом твоя истина, что ли?! Ошибаешься ты!

– Нет! Не ошибаюсь! – Бродяга тоже кричал. – Все – так! Все! Кроме – Христа! Он ведь за нас за всех муку принял, ни одному живому существу не причинив зла! На то Он и Бог! Поэтому – Бог! А все мы – грешники!

– Господа-товарищи, – по-русски, презрительно бросил бармен от уставленной бутылками стойки, – пожалуйста, потише... у нас посетители, неудобно... Алешенька, ты-то что разорался на ночь глядя...

– Прошу прощенья, – бродяга прижал ладонь ко груди и поклонился в сторону бара, – больше ни-ни...

– Тяпнул, что ли, уже где?

Бармен сердито протирал полотенцем бокалы.

– Нет, нетушки... ни в одном глазу... я трезв как стекло...

Вера заглянула в чашку. Черная кофейная гуща стояла на дне чашки нефтяным озером.

Бродяга вздохнул раз, другой тяжело, длинно.

– Жизнь... жизнь... Я говорил монахам: не бойтесь любить! Вы боитесь даже другу, соседу услужить, доброе слово сказать. Что толку, что вы молитесь? Вы делами – молитесь! Делами – Бога славьте! Я учил: есть люди, совсем не верящие в Бога, они даже над Богом смеются, атеисты, глухие к Богу и слепые, и обижают Его, оскорбляют... Но они так живут... так!.. что они – самые подлинные, настоящие христиане! И людей любят. И им помогают. И слабого – жалеют. И все строят, создают, и бескорыстно, не за мзду! И милость к врагам даже имеют! И четко – по Христу! – после удара по правой щеке – левую смиренно подставляют! И смеются над мучителем! И живут полной жизнью, и снова любят, любят! Ближнего – любят! И что? Что после этого ты скажешь? Что они – не во

Христе живут?.. Еще как во Христе! Еще какие они христиане! Самые наилучшие! Честнейшие! Только что – лоб не крестят! И их-то надо уважать, и приветствовать, и любить, потому как они – наиглавнейшие дети Христа! А не те, что в монастырьках за трапезой сидят да к обедне гуськом тянутся! И вот так... вот так я монахов-то там, в монастырьке моем, и учил... А игумен пришел как-то раз... перед дверью стоял – и все подслушал... и меня после за шкуру схватил!.. и орет: ересь глаголешь, ересь! Вон, кричит, из монастыря! Мирской ты человек, и топтать ты тут нашу монастырскую травку, и сажать монастырскую капустку не должен, и кондаки и ирмосы с нами распевать – опять же не должен!.. ничего ты тут не должен... И – никому... И – жми отсюда... чеши к едрене-фене...

– К едрене... – Вера смешливо прижала ладонь к губам, – так прямо... и сказал?..

– Ну, там я дословно не помню... но смысл такой... Короче, собрал я манатки... не ко двору я пришелся. Да там послушник был один. Молоденький! Совсем юный. Ко мне так привязался! Я ему как брат был. Родной. Он мне все услужить старался. Помочь. Я там, в монастыре, руку сломал. Ремонт у нас был, я белить стену известью полез, на леса взобрался, люльку со мной стали на ремнях поднимать, ремень оборвался, ну, и я упал. Об пол шмякнулся. Рука – хрясь! Так тот послушник сам гипс раздобыл, сам лангетку наложил. Руку мне забинтовал, как младенчика. Все спрашивал: больно? больно? Заботливый. И вот, когда я уходил... ну, разжалованный уже, расстриженный... послушничек этот как метнется ко мне! Как обнимет! Крепко-крепко! И зарыдал у меня на плече. Как, знаешь, Давид с Ионафаном обнялись... и рыдаем оба... ну, он мальчишка, слабодушный... а я, взрослый мужик, и чего реву?

– Давид... – морщила лоб Вера, – Давид... это царь Давид, что ли? Который – Псалтырь сочинил?

– Сочинил... – Бродяга, вроде Веры, в чашку свою заглянул. – Такие книги, знаешь, не сочиняют. Они – богодухновенные. Тебя как звать?

Вера не заметила, как, когда они перешли на «ты».

– Вера.

– Хорошее имя. Крепкое. Такое... – Бродяга сжал кулак и потряс им. – А я...

– Ты Алешенька.

Бродяга изумленно воззрился на Веру.

– Откуда ты знаешь?!

– Я слышала. Тебя называли так.

Кивнула на бармена. Бармен сидел на круглом высоком стуле и медленно, важно курил. Алешенька откозырял ему, как офицер генералу.

– Точно. Алешенька я. Неприкаянный. Да вот, Вера, в путь я собрался. В неблизкий.

– В путь?

– В путь.

Вера вздохнула.

– И я тоже в пути.

Алешенька улыбнулся ей так светло, будто среди ночи солнце взошло.

– Значит, мы с тобой оба путники.

– Да. Путники.

Ей понравилось слово «путники». «Путники, путники», – неслышно вышептывала она горячими губами. Сцепила чашку рабочими крепкими пальцами. Подняла. Стукнула чашкой о чашку Алешеньки.

– Давай допьем. Выпьем. Кофе. За нас.

Опрокинули чашки себе во рты. Проглотили холодный кофе и засмеялись.

– Кофе – за здоровье! Ну мы даем! А может, Вера, чего покрепче? Глянь, у них полно тут чего покрепче. Заказывай.

– А у тебя деньги есть?

– Есть. Не вопрос. Что берем?

Взяли пузатую бутылку местного, одесского коньяка. Бармен принес, откупорил, поставил бокалы, нарезал тонкими ломтями яблоко, в розетке поставил на стол маслины и сыр. Алешенька поблагодарил бармена гордым царским кивком.

– Потом рассчитаемся, Жорик.

– Я много не буду, – тихо сказала Вера, глядя на пузатую, как тот толстяк в самолете, бутылку. Алешенька усмехнулся.

– И мало тоже. Прозит, как говорится!

– Что, что?

– Темнота. Твое, типа, здоровье!

Вера больше нюхала коньяк, чем пила. Алешенька пил много, забрасывал в рот маслины, веселел, розовел. Его торчащие скулы пылали, как в жару. Пьянел он быстро и радостно.

– А-а-ах, Верчик! Хорошая ты баба. А куда стопы направляешь? Из нашей милой, славной... Одессы-мамы? Одесса-мама, Ростов-папа! Снимите шляпу!.. Одинокая? Или замужем?.. да мне-то что, мне плевать. Разные у нас дорожки!.. тришки-ешки!..

– А ты куда?

Вера уткнула нос в бокал. Коньяк пах черносливом и шоколадом, а еще немного дорогим табаком.

– Я-то? Я – в Хайфу. Паром мой через пять дней. Надо обождать. С тоски помру!

– Я тоже в Хайфу, – сказала Вера, искоса, через стол, глядя на монаха-расстригу.

– И ты в Хайфу?! Вот так да! – Алешенька расплылся в широкой улыбке. – Промысел Божий! Вместе поплывем! И молиться, – он сглотнул и восторженно поглядел на коньяк, – будем вместе...

– А ты зачем в Хайфу? – Вера захотела блеснуть знанием. – На пээжэ?

Алешенька захохотал. Оборвал хохот.

– Вроде того. У меня билет в один конец. Я там... Вера... в монастырек тамошний хочу попроситься. И... остаться. И чтобы укрыли. Там... там хочу. Хочу... На Святой Земле. Я тут, на грешной-то, хлебнул горячего!.. я не все тебе рассказал, не-е-е-ет. Не все! Я – грешник! Грешник великий. Отмолить грех свой хочу! А он у меня такой... такой...

Согнулся. Выгнул спину. Бессильными руками лицо закрыл. Пьяно заплакал. Стал раскачиваться за столом, чуть со стула не упал. В край стола вцепился, изругался шепотом.

– Какой? – тоже шепотом спросила Вера.

Спихватилась:

– Не надо. Не рассказывай.

– Не... буду... – всхлипывал Алешенька. – А впрочем, скажу... В двух словах... Ты – поймешь... Ты же Вера... Я обуреваем дьяволом был... в компашке тут одной мы собрались... Это уже на Украине произошло. Да... тут... под Одессой... за городом... хуторок на берегу... море такое славное, ласковое... и девочка... девчонка эта... Короче... еще короче...

– Я поняла, не надо! – тихо вскрикнула Вера.

Алешенька не слышал ее.

– Дочка хозяев... лет десять ей... банька там у них, во дворе... приборой в камни бьет... Гости орут: баню хотим! Баню – растопили... девочка эта – нам веники несет. Березовые... Паримся, хлещемся... и тут... собутыльники мои делись куда-то... я – один... за стенкой, на улице, на ветру – голосок... песню поет... Я вышел, сгрел ее в охапку, в баню внес... дьявол это, Вера, дьявол... Он – везде... вот он за тобой сейчас следит! Подсматривает! И только ищет удобного момента... ждет... выжидает... маленькая девочка... беленькая, как вареная курочка... глаза такие у нее были... я ей рот рукой зажал... она мне всю руку искусала... всю...

Вера оттолкнула от себя бокал. Он скользко проехался по столу и упал на пол. Нагнулась, подхватила из-под стола ранец и побежала к двери.

– А платить?! – кричал вслед бармен.

Алешенька кинул на барную стойку купюру и, заплетая ногами, ринулся за Верой.

Догнал ее на ветру. Ветер крутил и мотал перед ее лицом ее жесткие волосы. Она сжимала руки в кулаки. Шла быстро, да ноги вязли в песке. Шла вдоль берега. Море плело дикие, разбойничьи кружева прибороя. Алешенька пьяно костылял за ней, протягивал руки к ней, будто ей молился, а она была икона, и ожила, и навек уходила от него.

– Вера!.. Вера!.. Ну что ты!.. брось!.. я пошутил!.. Я все придумал!.. чтобы тебя – напугать!..

Вера шла, в нитку сжав губы.

Алешенька забежал вперед. Раскинул руки. Вера остановилась, тяжело дышала.

– Пусти!

Она плюнула на песок. Ночное небо сияло кучей малой крупных и мелких, бешеных звезд.

Ветер крутил Верину юбку и редкие сивые волосенки Алешеньки на его голой голове.

– Ты как мать игуменя! Ну, накажи меня! Расстриги меня вдругорядь! Чтобы неповадно мне было! Епитимью на меня наложи! Кирпичи меня... заставь... всю жизнь таскать! Или... воду из моря черпать! И в пригоршне – на берег носить! Всякую чушь делать буду! Только... не... уходи!

Крикнул отчаянно, хрипло:

– Не покидай!

Вера дрожала. Ей было отвратительно и больно. Боль рвала ее на части, раздирала. Ее будто кто-то огромный ломал на части, как жареную курицу, рвал, терзал, вцеплялся в нее зубами. Будто звезды небесные превратились в острые зубы и грызли, жевали ее, перемалывали. Ветер налетел, мощный его порыв толкнул Веру в грудь и чуть не уронил ее на песок. Алешенька упал перед ней на колени.

– Я чудовище! Я дерьмо! Но я хочу... снова стать человеком! Я хочу... Вера... к Богу! К Богу вернуться! Меня же к Нему уже звали! Много званых, Вера, да мало избранных! Помоги!

Его руки обняли ее, его лицо уткнулось ей в живот.

Она, сама не понимая, зачем и почему, гладила его по затылку, как ребенка.

– Не плачь...

Его руки сжимали ее все крепче.

– Вера! Прости меня! Я пьянь, я дрянь... Но я тебе все рассказал! Как на духу! Ты – моя священница! Ты – исповедь у меня приняла! Так отпусти! – Он хрипел из последних сил. Ветер забивал ему глотку, пере-крикивал его воем и свистом. – Отпусти мне грех! Не могу я с ним жить!

– Встань! – крикнула Вера. – Песок сырой!

Алешенька не мог встать. Он крепко запынял. Вера подала ему руку и стала тянуть его вверх. Все вверх и вверх. И он вставал, поднимался, все вверх и вверх, все вставал и вставал, и все никак не мог встать.

Встал наконец, не ровень с ней, а ниже ее – маленький, щуплый Жалкий.

– Где мы будем жить?

Ветер перекрывал тихий голос Веры.

– А разве мы... будем жить?..

Вера улыбнулась. Мимо ее глаз осеннее море текло белой суровой нитью прибоя, нить под ветром то и дело рвалась, и сыпались, печально осыпались крупные и мелкие, дальние и ближние, бедные звезды белыми тыквенными семечками в соленую пену.

– А как же... еще как будем... Ну где-то нам... надо... пять суток пере-ждать... не на вокзале же... а можно и на вокзале...

– Нет... на вокзале не надо...

Уже оба друг другу улыбались. И губы их дрожали. Алешенька дышал хрипло, потом закашлялся, и кашлял надсадно, и вынул из кармана платок, и Вера, в свете звезд, увидала на платке красное пятно.

Алешенька быстро спрятал платок в карман, затравленно глянул на Веру и зло, резко спросил:

– Ну что зыришь?.. да, болен я... а помирать хочу там... там... у Христа... поняла?!

– Поняла, – сказала Вера.

Она взяла Алешеньку под локоть и повела. Потом он вырвал руку и взял под локоть ее.

Они шли по берегу и не знали, куда и зачем шли.

Шли, чтобы идти.

И в этом был весь смысл; и все чудо; и все наказание; и все прощенье.

* * *

У бродяги Алешеньки в карманах, как выяснилось, водилось много разномастных денег: и гривны, и доллары, и евро, и русские рубли, и даже почему-то дерзко затесались среди прочих купюр мексиканские песо. Они сняли в дешевой гостинице на отшибе номер на двоих. Гостиница притулилась у самого моря, ее стены сотрясал ветер, ветер выл в трубах, срывал с веревок на балконах белье постояльцев. Море грохотало, как в бубен. Алешенька смеялся над потрепанным ранцем Веры: «Какой детский сад, старшая группа!» Вера хохотала над рюкзаком Алешеньки: ну надо же, столько валюты с собой, а рюкзачишко весь штопанный-перештопанный!

Ели в гостиничном буфете. Все просто: бутерброды, сосиски, чай. Буфетчица бойко сыпала и сыпала перед ними дробной чечеткой украинську мову. Вера пожимала плечами. Она иногда ловила в россыпи чужого языка знакомые слова. Алешенька важно, изысканно говорил по-украински, вел с буфетчицей душещипательные беседы: о детях, о моде, о загранице. Хохлушечка с метельной кружевной наколкой в пышных черных волосах уже знала, что они оба на днях уплываю

пароме в Израиль: «Які ви обидва щасливі, ви побачите Святу Землю! Я так заздрю вам!»

Буфетчица думала, что они семейная пара.

Кровати в номере стояли сдвинутые, они их растащили по разным углам. Когда Вера раздевалась, Алешенька выходил покурить. Курил он редко, и Вере казалось, он делает вид, что курит. «Тебе же нельзя!» – сказала она, намекая ему на его плохой, кровавый кашель. «Мне теперь все можно», – мрачно и твердо ответил он и подбросил на ладони пачку сигарет, и поймал, как жонглер в цирке.

Дни текли, накатывал прибой, бил в просоленные валуны, ласкал темный, серый сырой песок, и Вера с балкона глядела на море долго и нежно, слезно, – так глядят на возлюбленного, которого покидаешь навсегда. Приближалась зима, и не было у Веры теплой одежды, подарила она ее птичке в столичной больничке, ну да ладно, это ничего, успокаивала она себя, на юг же еду, там зимы не бывает. Алешенька сказал ей, что в Израиле два раза в году снимают урожай апельсинов. Она дивилась, ахала. «Апельсинов с тобой наедемся до отвала!» – кричал он, а потом сгибался в три погибели и кашлял – надсадно, страшно. И кровь текла по его подбородку. И он утирал ее ладонью и страшно ругался. И Вера шептала: «Ты же бывший монах, и будущий тоже, тебе нельзя так скверно выражаться».

Алешенька брал ее руку в свои обе и погружал лицо свое в ее ладонь, как в теплую воду.

И так сидел, долго, не шевелясь.

Дни протекли, время отбило склянки стеклянным ледяным прибоем. В назначенное время прибыли они оба в одесский порт, там уже у пристани стоял громадный, как айсберг, паром, и по трапу на него всходили люди, и веселые и грустные. Веселые люди говорили громко, шумели, восклицали, обнимались. Грустные люди молчали.

Вера и Алешенька перешли по трапу с пристани на паром, его покачивало на волнах. Веру замутило. Она смущенно посмотрела на Алешеньку.

– Меня тошнит.

– Ничего! – Алешенька поправлял лямки рюкзака на одном плече, на другом. – С Божьей помощью!

– Это хуже, чем самолет, я чувствую.

– Море, матушка, море...

Их несло вверх и вперед в толпе пассажиров, у Веры было чувство, что случилась революция, восстание или же война, и всех зовут собирать ополчение, и всем надо быстро сбиться в строй и дружно, гневно идти на врага, а где враг, не знает никто, – Алешенька тянул ее за руку и все повторял: «Вера, у нас четырехместная каюта, это же просто роскошь, курорт, с видом на море, мы будем видеть море, Верчик, будем видеть воду и солнце!» – они шли по коридорам и переходам, между сдвинутых стульев и между тесно прижатых друг машин, и искали номер каюты, и наконец нашли, но располагаться там не стали: «Еще успею належаться!.. пошли море смотреть, и как отплываем!..» – и паром медленно, тяжело отвалил от пристани, переваливался на волнах, как чудовищная железная утка, волнение усиливалось, ветер дул с северо-востока, продувал насквозь, выдувал из людей все тепло, и Вера пряталась за тщедушного Алешеньку, а он обнимал ее, от ветра и холода спасая. Брызги летели в лицо, и Вера слизывала с губ соль.

Они оба смотрели на угрюмое море.

- Как бы бора не началась, – пробормотал Алешенька.
– Что? – не поняла Вера.
– Бора. Ветер такой. Сильный, ледяной. Паром обледенеет. И его может перевернуть.
Вера нервно засмеялась.
– Знаешь что, не пугай меня! Я пуганая.
– Да. Стреляная ты воробьяха.
Взялись за руки, как дети. Так стояли, обдуваемые ветром.
Паром набирал ход.
– Ты есть хочешь?
– Не особенно. Я бы выпил.
– Губа не дура.
– Я и сам не дурак.
– Холодно? Может, в каюту пойдем?
– А давай еще немного постоим? Ветер такой... свежий...

* * *

Они оба не поняли, когда начался настоящий шторм.

Бора налетела быстро, никто и пикнуть не успел. Море вспучилось, темная зеленая вода вспыхивала зловеще, оживала взорванным малахитом, волны накрывали одна другую и рушились на палубы парома. Громадный и царственный возле пристани, в порту, он немедленно сделался белой нищей скорлупкой посреди безумия соли, ветра и льда. Релинги мгновенно обледенели. С капитанского мостика разнесся зычный ор, усиленный мегафоном: «Всем уйти с палубы в каюты! Всем быстро в каюты! Держитесь за релинги! Держитесь...» Голос оборвался. Гул ветра заглушал крики людей. Паром раскачивало так, что Вера подумала: «Сейчас, вот сейчас перевернемся!» Они еще держались за руки, когда огромная, с целый дом, волна накрыла их.

Вере удалось уцепиться за железный выступ. Бешеная вода оторвала Алешеньку от нее и потащила вниз, все вниз и вниз по наклоненной палубе. Он катился, все вниз и вниз, и пучина уже была под ним, темно светилась рядом, и Вера, сцепив зубы, видела, как он скатился в море, – волна смысла его с палубы, быстро и просто, смерть выглядела очень просто, как всегда и везде: вода, и ветер, и назначенный срок. Вера смотрела, как Алешенька скользит все вниз и вниз, как палуба все круче наклоняется, кренится страшным последним креном, и вот уже человек бьется в волнах, еще ударяет руками, ладонями по соленой бешеной влаге, ловит соленую воду ртом, он еще пытается плыть, да вода слишком холодна, в такой долго не продержишься, – не проживешь. Алешенькина голова моталась над водой. Вера глядела, как он умирает: то погружается в воду, то всплывает опять, живой поплавок, – опять тонет. Вынырнул опять! Она поймала глазами его глаза. А он – ее. Он смотрел на нее безотрывно, смотрел навек. Навсегда. Он кричал ей глазами: не забудь меня! Не забудь! Прости хоть ты меня! Прости!

Его рот дрогнул, губы раскрылись, он закричал, Вера по губам его прочитала: «Ве-ра!» Он звал ее. Сейчас он нырнет и больше не вынырнет. Она схватила зрачками его последний взгляд. Он странно высветился последней, яростной радостью. Будто он встал за столом, за мощным пиршеством, и поднял над роскошью жизни бокал, этот свой любимый одесский коньяк, пять звездочек, и заорал: «За жизнь!» И Верины глаза вспыхнули, они вспыхнули слезами и ужасом, но она не видела этого.

Зеркала же не было рядом. Не моталось никакое зеркало перед лицом. Мотались и прыгали, и сшибались, и разлетались, как зеленые камни, волны. Орал с верхней палубы все тот же гулкий голос. Навалилась волна, окатила Веру с головы до ног слезами и солью. Море плакало и ярилось. Голову Алешеньки захлестнула вода, она еще мелькнула, дернулась, поторчала живым поплавком и исчезла. Вера вцепилась в крашеную железную другую рукой. Обеими руками держалась за железо. За жизнь.

* * *

Не помнила, как буря утихла. Бора, дикая зверица, перестала терзать ледяными когтями зеленую шкуру моря. А ветер все не умирал. Вера, как привидение, пробралась в каюту. Там уже дрожали, сидя на жесткой койке, как воробьи на стрехе, плотно прижавшись друг к дружке, два парня, юные, почти подростки – а просто, должно быть, зверски худые. Они были очень похожи. Братья, видать. Светлые кудри вокруг тощих, с впалыми щеками, остроугольных лиц. И глаза ледяные, прозрачные, дно видно, зрачки будто режут тебя ножами.

Вера уселась напротив. Юнцы не заговаривали с ней. Они дрожали и молчали. Глядя на них, начала дрожать и Вера. Паром беспощадно, жестоко мотало на волнах. До штиля было еще далеко. В животе у Веры заурчало. Она вспомнила тот кофе в кавярне, и тот крепкий, царапающий глотку, как наждак, одесский коньяк. Ее одновременно и тошнило, и есть она хотела, и плакать, слезы уже лились, она их не вытирала, и сквозь слезы все смотрела, прямо смотрела в лица этим братьям, должно, близнецам, что сидели напротив.

Один из братьев не выдержал первым.

– Вам плохо?

Вера сплела пальцы на коленях. Удерживала внутри себя дурноту.

– Нет. Нормально.

Другой юноша вынул из кармана джинсов железную коробочку. В ней лежали, пересыпанные сахарным песком, аккуратно нарезанные лимонные дольки.

– Возьмите. Пососите. Лимон помогает.

Оба парня говорили по-русски с акцентом.

Вера осторожно, как живого жука, взяла двумя пальцами из коробочки кусок лимона, засунула в рот, сосала. Кислота бросилась ей в голову, не хуже коньяка.

– Спасибо.

– Прошоме, – ответил первый отрок.

Вера долго не думала.

– Вы русские?

– Литовцы, – сказал второй.

– В Израиль... – Хотела спросить: «на пээмже», да смех сквозь слезы ее разобрал. – В гости?

– *Visiems laikams*, – сказал первый. – Навсегда.

Вера проглотила лимон. Он рыбкой проскользнул по ее потрохам.

– У вас там... родители?

– Никого, – сказал второй. Воткнул пятерню в растрепанные светлые кудри. – Но нас встретят.

– У нас там, – сказал первый, – экклесия.

– Что? – спросила Вера. – Кто?

Во рту было кисло. Тошнота отступила.

А может, просто море разгладилось под серым утюгом неба.

– Экклесия, – настойчиво, терпеливо повторил первый. – Цер-ковь.

Вера вспыхнула. Ощутила себя девчонкой, ребенком несмышленным; и вроде как ее за ручку ведут во храм, а она не знает, что такое храм и что у него внутри, и как там надо себя вести, жарко там или холодно, и горят ли свечи, и все ли там прощают, все ли грехи.

– Православная?

Второй улыбнулся. Зубы во рту у него стояли кривым частоколом, как кривой, покосившийся забор.

– Не-е-е-ет. Нет-нет! Это не наше. Это – чужое. У нас – своя.

Первый вытянул шею, как гусь:

– Да! У нас – истинная. Наш владыка – наместник Бога на земле!

О нем мало кто знает, но придет время, и все узнают!

Перекрестился странно: обе руки сначала положил на лоб, потом на живот, потом развел в стороны, потом прижал к сердцу. И так сидел, блаженно закрыв глаза.

– О нем уже тысячи знают, – сладким голосом выпел второй мальчик. – Миллионы! О блаженном Андрее! Он незримо летает над землей и приходят к людям, невидимый, и сердцем их благословляет! Он – благовестник! Он несет великую любовь! Превышенебесную! Он – помазанник!

– И помазует всех нас, грешных, – первый сидел, все так же закрыв глаза, – сей любовью, как святым миром из золотого сосуда...

Во рту Веры стояла кислятина. Она дернула мокрым подбородком. Скосила глаза в иллюминатор: море укладывалось длинными, спокойными зелено-болотными пластами. Выглянуло солнце. Залило водный простор веселым изумрудным свеченьем.

Как и не было бури и смерти.

Слезы все лились и втекали ей в рот. Она глотала их, как лимонный сок.

– Вы плачете? – участливо спросил второй юноша. – Чем помочь?

– Ничем, – шмыгнула носом Вера и утерла лицо ладонью. – У меня погиб... – Она не постеснялась вранья. – Муж.

Второй открыл глаза.

– Как?! Вот сейчас? В шторм?

– Его смыла с палубы волна, – с трудом сказала Вера.

Оба подростка поднялись. Потом опустились на колени. Так же странно, широко, смешно, будто обнимали кого-то после долгой разлуки, обеими руками перекрестясь, запели:

Блаженный Андрей, святой апостол грешной земли!

Приди, возлюби, исцели!

Святое солнце во тьме, апостол Андрей!

Прими в объятия ты грешную душу скорей!

Вера хотела им подпеть и не смогла. Горло перехватило. Она задохнулась в слезах. Мальчишки вскочили с колен, сняли с нее ранец и уложили ее на каютную койку, привинченную к стене громадными железными болтами. Она отвернулась к стене и так лежала, молча, с мокрыми щеками.